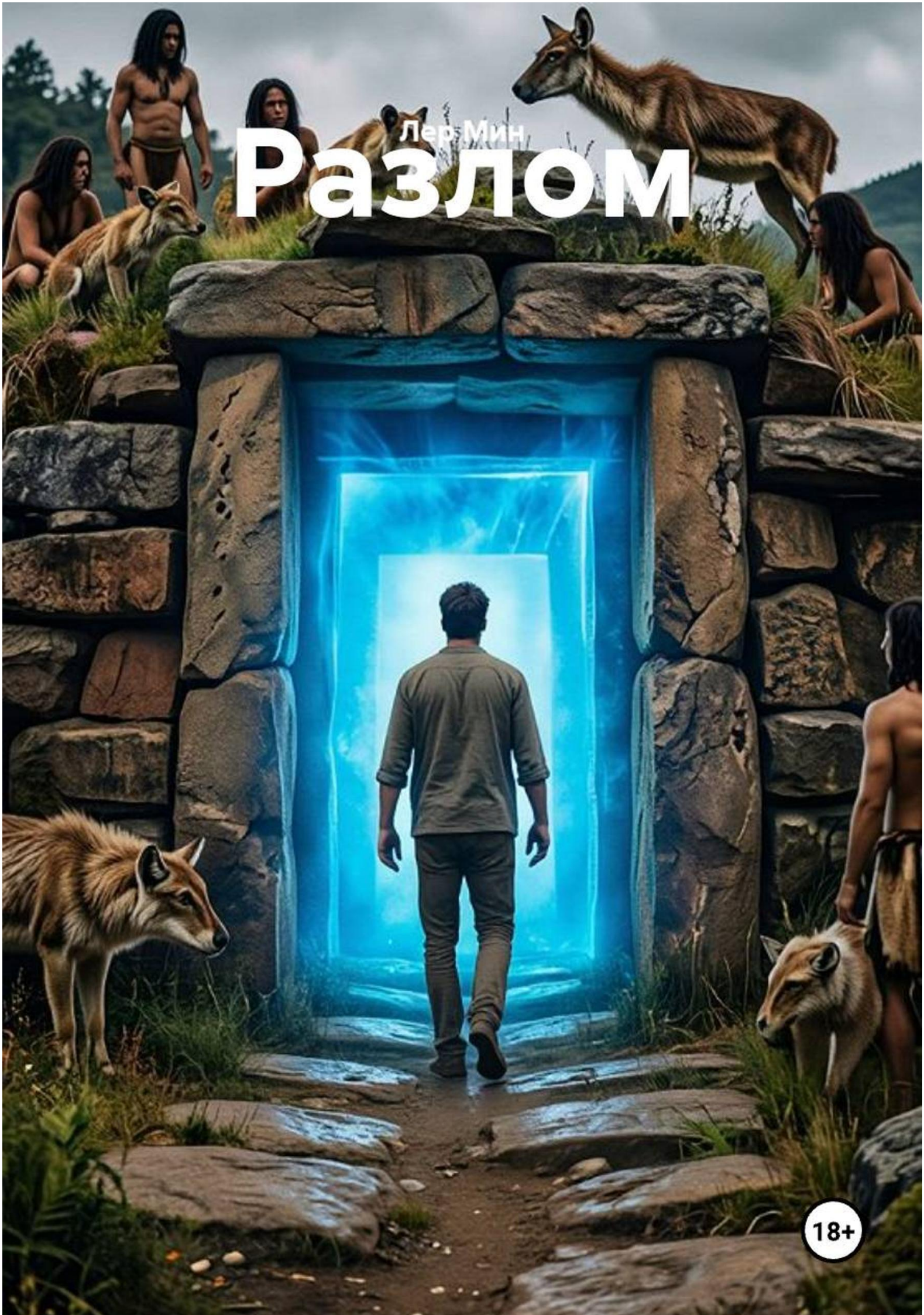

Лер Мин
Разлом
18+

Лер Мин

Разлом

«Автор»
2026

Мин Л.

Разлом / Л. Мин — «Автор», 2026

Наш герой, через аномалию, попадает в каменный век. Случайность это или окно возможностей мироздания узнаем вместе.

© Мин Л., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 7
Глава 3 18
Конец ознакомительного фрагмента. 22

Лер Мин
Разлом

Глава 1

Степан Громов очнулся и ему было жарко. Не душно, как в бытовке, когда отопление выкручено на полную и весь вагончик превращается в противень, а именно жарко и сухо — так, будто на него кто-то дышит, ровно и долго, прямо в затылок.

Он лежал на камнях. Не на гладких речных голышах, а на камнях рваных, обломанных, с гранями, и одна из этих граней упёрлась ему под лопатку так, что стало ясно: он лежит так уже не первый час. Степан сел.

Голова с лёгким хрустом провернулась, как шестерня без смазки, и мир вокруг качнулся. Над ним нависал каменный край щели, испятнанный тёмными разводами, а сбоку, метрах в трёх, открывался выход. Оттуда лился свет — не резкий, полуденный, а мягкий, вечерний, — и в этом свете медленно, лениво висела пыль.

Степан посмотрел на свои руки. Потом на свои ноги. Потом опять на руки.

Он был голый. Совершенно, абсолютно, до последней нитки — голый. Ни куртки, ни штанов, ни ботинок, ни часов на запястье, хотя ремешок он утром затягивал на последнюю дырку, ни рюкзака, ни рации, ни складного ножа в кармане, ни даже пустой пачки из-под сигарет, которую таскал год после того, как бросил курить. Ничего.

Тело, впрочем, было его собственное, знакомое до последней родинки: вот белый шрам под левой ключицей от разбитого стекла, вот сбитая коленка с прошлого сезона. И тело было не городское и не офисное: плечи, спина, руки, привычные к тяжести, живот, который не мешал наклоняться. Армия, а потом восемь полевых сезонов с рюкзаком и кувалдой сделали своё. Всё на месте. Значит, и голова тоже его, и это в ней просто пока плохо уложилось утро.

— Так, — сказал он вслух. Голос в пустоте прозвучал глупо, но молчание было ещё хуже. — Так. Спокойно.

Он огляделся.

И память вернулась — не сразу, кусками, как вытаскивают из воды размокшую бумагу.

Степану было тридцать два года. Он работал инженером-геологом в буровой компании, и в этом не было ни капли романтики — только вахты, грязь, планёрки и щебёнка в ботинках.

Тот день начинался как обычно. Август, месторождение, ветер с сопок, дизельная станция стучит, как дятел по консервной банке. Задача была скучная и простая: пройти маршрут, найти обнажение в борту распадка — старое русло древней реки, — описать слои, отобрать пробу на гранулометрию и не опоздать к ужину.

Он поднимался по курумнику, отмечал в планшете слои, и всё было обычным, пока не стих ветер. Разом, будто кто-то выключил его. А потом с запада, из-за сопки, выползла туча. Тяжёлая, сизая, с рваным краем, — и шла она быстро, слишком быстро для августа, но Степан знал такие: в горах гроза может налететь за десять минут. Он ещё подумал, что надо сворачиваться, — и тут же первые капли упали на камень, крупные, редкие.

Небо на западе затянуло, свет померк, стал серым. Степан не успел даже выругаться.

Ветер ударил снова, со всех сторон, швырнул в лицо каменную крошку. Степан пригнулся, огляделся. Укрываться было негде — склон голый, курумник, ни скалы, ни карниза. Только справа, шагах в двадцати, между двумя глыбами чернел провал — неглубокий на вид, но всё лучше, чем ничего.

Он добежал, спрыгнул вниз — и провал оказался глубже, чем казалось. Степан съехал по каменному жёлобу, ободрал плечо, упёрся ногами в завал. Здесь было тесно, но сухо. Сверху, в узкую щель, уже падали первые капли. Он толкнул камень, который мешал, — тот поддался неожиданно легко, сдвинулся, и за ним открылся лаз.

Света от щели над головой хватало едва-едва: серая полоса падала на камни у входа, а дальше ниша проваливалась в темноту. Степан подождал, пока глаза привыкнут к полумраку. В пыли, в серой полосе, проступали очертания: сначала — угол камня, потом — что-то тёмное, бесформенное, вжатое в стену. Он подполз ближе, к самой границе света, и только тогда разглядел.

В нише лежал скелет. Не целый — разрозненный, полузасыпанный пылью и мелким щебнем. Кости потемнели от времени, часть рёбер отсутствовала, череп был повёрнут к выходу. Но поза читалась: колени поджаты, одна рука вытянута вперёд, к свету, пальцы — те, что уцелели, — скрючены, будто он пытался дотянуться до чего-то, что осталось снаружи. Молодой — по узким плечам, по целым зубам. Рядом лежало копьё с каменным наконечником, обломок копалки и несколько оббитых галек.

И ещё одна деталь, которую Степан заметил не сразу. У самой шеи, там, где когда-то было ожерелье, лежали три просверленных клыка — волчьих, а может, медвежьих. Крайний был расколот надвое. Шнурка давно не было — истлел, рассыпался в прах, — но клыки лежали ровно, рядком. Степан почему-то запомнил их сразу: три клыка, один с трещиной.

— Ну, Степан Громов, — сказал он вслух. — Поздравляю. Первая в жизни археологическая находка. Мировая наука рыдает от восторга.

И тут его накрыло. Сначала — жаром, будто из ниши пахнуло печным устьем. Потом — давлением в груди, как перед прыжком в холодную воду. Воздух вокруг стал плотным, густым, и Степан поймал себя на том, что не может вдохнуть полной грудью. Пространство вокруг будто сдвинулось, и от скелета к нему протянулась невидимая нить — не мысль, не видение, а ощущение, что между ним и этими костями есть что-то общее.

И вместе с этим пришло другое. Не мысль, не видение — память. Та, которую он гнал от себя два года и которая всё равно возвращалась по ночам.

Тот день был ясный, как этот. Он стоял у обочины, в двадцати шагах от перекрёстка, и смотрел, как «Газель» вылетает на красный. Он видел всё: как жена обернулась, как дочь подняла руку — она всегда махала ему, когда он отходил, — и как удар смял передок машины. Он видел и не мог ничего сделать. Стоял, как привязанный, и смотрел, как то, что было его жизнью, складывается в металл.

И сейчас, в этой нише, глядя на скрюченные пальцы скелета, вытянутые к выходу, он почувствовал то же самое. Не жалость к незнакомому охотнику из каменного века — своё. Своё «не успел». Своё «не спас». Своё «стоял и смотрел». Отчаяние поднялось изнутри, как тошнота, и он понял: этот человек умирал так же. Тянулся к выходу, к тем, кого оставил снаружи, и знал, что не дотянется. И Степан, стоя над ним, чувствовал себя так, будто это он сам лежит здесь, вросший в камень, и всё ещё тянется —

к жене, к дочери, к чему угодно, — и не может дотянуться.

Молния ударила в нишу.

Он сидел на камнях. В той же щели. Голый. Совершенно, абсолютно, до последней нитки — голый. Он не знал, почему. Помнил только, что до молнии был одет — куртка, штаны, ботинки, часы на запястье. А теперь ничего. Одежда осталась там — или не существовала вовсе.

Воздух был другой. Плотнее, тяжелее, полон запахов: хвоя, прелая земля, дым. И тишина другая — не пустая, а насторожённая.

Он был один. Совсем один.

Глава 2

Степан выполз из щели и сел на камень у входа. Руки дрожали — не от холода, от всего сразу.

Скелет. Молния. Память, которую он гнал два года. И он сам — голый, на камнях, в щели, которой минуту назад не было. Или была? Он не помнил. Помнил только серую полосу света, кости и жар, будто из печного устья. А потом — ничего. А потом — вот это.

Он посмотрел на свои руки. На голые колени. На щель за спиной — тёмную, узкую, с каменным краем, испятнанным разводами. Та же щель. Или не та? Он не мог бы сказать. Внутри было пусто — ни скелета, ни копья, ни клыков. Только пыль и камень.

«Что это было?» — подумал он. И не нашёл ответа. Ни одного. Ни мистического, ни физического. Только факты: был скелет, была молния, стало — вот это. Голый. Один. В щели, которой, может быть, не было.

Он посидел ещё минуту, потом встал. Ноги держали. Голова — хуже, но держала тоже.

«Ладно, — сказал он себе. — Хватит. Надо вернуться».

В лагерь. К буровой. К людям, к рации, к чёртовой каше в столовой. Он не мог быть далеко — километр, два, максимум три. Гроза, молния, он шарахнулся в сторону, провалился в щель, ударился головой. Бывает. Всякое бывает. Главное — выйти на знакомый склон, а там уже дорога, ЛЭП, мачта.

Он поднялся на несколько шагов по склону, чтобы оглядеться, — и остановился.

Внизу лежала долина. Она была красивой — и абсолютно невозможной.

Ни полотна дороги, ни ЛЭП по хребту, ни дымка над посёлком, ни знакомого силуэта буровой мачты, которая торчала на горизонте, как кривая спица. Вместо всего этого — лес: тёмный, плотный, до самого низа склона, с редкими пролысинами болот, и посреди него река, широкая, стальная, с песчаными косами, которой он на карте в жизни не видел.

Он стоял и смотрел. Долго. Потом ещё раз обвёл взглядом хребет — медленно, по кругу, как учили в маршруте: от воды к склону, от склона к воде. Ничего. Ни дороги, ни посёлка, ни мачты.

«Значит, я не там, где думал, — сказал он себе. — Значит, я ушёл дальше, чем думал. Или...»

Он не стал додумывать «или». Вместо этого сел на камень и минут пять просто смотрел. В голове громко шуршали все его представления о том, как устроен мир.

«Ты ударился головой. Ты лежишь в отключке на курумнике, у тебя сотрясение, ты бредишь, хватит».

Он ущипнул себя за руку. Больно.

«Тогда — ты сошёл с ума».

Он огляделся в поисках третьего варианта. Мистика не рассматривалась в принципе — ни в детстве, ни потом, ни тем более сейчас, с разбитой головой и без штанов. Значит, оставалась физика, которой он пока не понимал, а это рабочая ситуация: непонятную породу тоже сначала описывают, а объясняют потом.

— Ладно, — сказал Степан. — Принято. Допустим.

Он даже не стал разбираться в «допустим как» и «допустим почему». В незнакомом районе геолог делает ровно то же, что любой человек без карты: привязывается к воде и рельефу, потом ищет людей, а выводы пишет в конце. Порядок действий известен. Ответов нет.

Воды было хоть залейся. А вот всё остальное отсутствовало полностью: ни ножа, ни спичек, ни верёвки, ни лоскута ткани. У него были руки, ноги, голова и смутное представление о том, сколько человек проживёт без всего перечисленного.

Он встал и пошёл вниз.

Спуск занял минут двадцать. Осыпь он знал: наступать не всей подошвой, а краем, и слушать, как камень шуршит под весом. Босиком было непривычно — камни выворачивались, впивались, — но Степан держался кромки, где песок плотнее, и к подножию пришёл с парой ссадин на ладонях и лёгким ушибом колена. Ничего серьёзного. Жить можно.

Зато внизу был ручей — ледяной, с привкусом камня. Степан пил из него, стоя на четвереньках, как зверь, и думал, что ничего вкуснее в жизни не пробовал.

А потом поднял голову и увидел лес вблизи.

Сосны были толстые, в два обхвата, с корой, потрескавшейся крупными чешуями, и смола застыла на них янтарными слезами. Между ними стояли кедры, подлесок был такой густой и цепкий, что Степан понял: вглубь он сегодня не пойдёт. Пахло хвоей, нагретой смолой и прелой землёй. Где-то над головой переругивались птицы.

И ни одного следа человека: ни пня со свежим срезом, ни обрывка верёвки на ветке, ни колеи, ни банки, ни зарубки на стволе. Степан прошёлся вдоль опушки, вглядываясь в землю, как в планшет с разрезом, и не нашёл ничего.

Лес был абсолютно, безнадёжно, восхитительно дикий.

Он сел на камень у ручья и заставил себя думать. Паника — плохой советчик, а он не в том положении, чтобы бегать по лесу наугад. Люди селятся у воды. Река — главная дорога в любом краю. Значит, надо идти вниз по течению: рано или поздно оно выведет к жилью, к лодкам, к дыму. А если не выведет — по крайней мере, не умрёшь от жажды.

Он встал и пошёл вдоль воды.

Солнце ушло за хребет, и долина погасла быстро: сначала потухли вершины, потом свет сполз по стволам вниз, потом стало серо. В горах сумерки короткие — не потому, что солнце падает разом, а потому, что хребет съедает его высоко и тень накрывает долину разом. Степан успел пройти километра полтора.

Ночевать голым, под открытым небом, без огня — он слишком хорошо понимал, чем это закончится. Не смертью, но очень плохим утром. И сделал единственное, что оставалось: пошёл искать укрытие.

Оно нашлось быстро. Метрах в тридцати от берега лежала старая ель, вывернутая с корнем: корневая плита встала стеной в два человеческих роста, а под ней образовалась яма — сухая, с трёх сторон закрытая и сверху накрытая. Степан ободрал ладони, выгребая прелую труху, потом натаскал хвои и сухой травы. Получилась подстилка толщиной в ладонь.

Он забрался внутрь, поджал колени к груди и стал ждать темноты.

Темнота оказалась не такой страшной, как он думал. Было тепло. Пахло нагретой за день землёй, ровно стрекотал сверчок, и река на перекате говорила всю ночь одно и то же слово. Один раз, уже совсем поздно, по отмели прошло что-то тяжёлое и хлюпнуло водой так близко, что Степан задержал дыхание. Он не встал, не пошёл смотреть. Но напрягся весь, сжался в комок и лежал, прикидывая на слух, где это было: по хлюпанью выходило шагов тридцать, ниже по течению, и двигалось оно медленно, без спешки.

Тридцать шагов в темноте — это не близко. Но и не настолько далеко, чтобы об этом забыть. Он лежал и слушал до утра, не смыкая глаз.

К утру стало холодно. Не насмерть, как он боялся, а просто холодно: роса, туман и озноб такой, что зубы начинали стучать сами, без спроса. Он вылез из ямы, растёрся ладонями до красноты, попрыгал на месте, как дурак, и согрелся.

Туман над рекой стоял белый и неподвижный. Степан дождался, пока он поднимется, напился из ручья и осмотрел себя: пара ссадин на ладонях, ушиб на колене — ничего, что мешало бы идти. Обувь всё равно нужна: босиком по лесу далеко не уйдёшь.

Но сначала — оружие. Он поискал глазами сухостой: у самой воды стоял молодой ольшаник, а чуть дальше — сухая, выбеленная ветром палка, почти прямая, длиной в его рост. Он выломал её — сухая, поддалась легко, — ободрал кору и заострил конец трением о шершавый

песчаник, который нашёл тут же, у кромки. Работал долго, пока остриё не стало твёрдым и острым. Вышло криво, но это было копьё. Не гарантия, конечно, — но с ним ночное хлюпанье уже не казалось таким близким.

Потом он потратил ещё час на обувь. Содрал с поваленной берёзы пласт берёсты — она не боится сырости, единственное, что он про неё твёрдо знал, — и опустил его в ручей: пусть размокнет, тогда гнётся, а не трескается. Пока берёста мокла, нарвал широких листьев и наломал тонких корней. Потом размочалил кору на полосы, соорудил на каждую ногу нечто вроде сандалия: подошва в два слоя, подкладка из травы, завязки крест-накрест. Вышло криво, но ступня перестала тыкаться в каждый камень.

А третьей — голод. Он налетел сразу, как только Степан выпрямился: не урчанием в животе, а слабостью в коленях и мыслью, которая перебивала все остальные. Последний раз он ел вчера утром, в столовой на участке, — кашу, два куска хлеба и омлет, который тогда ещё ругал. Выходило около суток. Считается, что это ерунда, что человек без еды живёт неделями. Но одно дело читать про это, а другое — стоять в лесу голым, с пустым желудком и понимать, что запас кончился, а взять новый неоткуда.

Солнце пригрело — и тут же, будто из-под земли, его облепил гнус. Мелкий, злой, он лез в глаза, в уши, кусал шею и спину так, что хотелось выть. Степан знал: это не просто зуд. Мошка может закусать до жара и слабости, а там и до беды недалеко.

Одежды у него не было — ни лоскута. Значит, оставалась берёста. Он содрал ещё один пласт, прорезал дыру для головы и накинул на плечи. Жёстко, не дышит, но спина и грудь закрыты. Потом спустился к ручью и обмазал лицо, шею и руки жидкой грязью — пока мокрая, комары не садятся. Высохнет — осыплется, но на час-два хватит. А ещё он заметил: на открытой косе гнуса больше, а в глубине леса, под пологом, — меньше. Значит, идти надо в тени, а на воде — не задерживаться.

Он снова пошёл вниз по реке. План был простой: держаться воды, идти по течению, смотреть по сторонам. Река не обманет — либо выведет к людям, либо покажет, что людей здесь нет вообще. Второе было хуже, но и это знание чего-то стоило.

Он пошёл вдоль воды и всю дорогу думал о еде. Вспоминал, что первое дело — вода, и пил столько, сколько влезало, чтобы обмануть пустой желудок. Солнце припекало. Держался кромки, где песок плотнее. Копьё держал в правой руке.

Ещё до полудня он вышел на очередную косу — и остановился.

У валуна, вылизанного течением, лежала галька, чистая, будто специально отобранная. Половина галек была обколота. А рядом, в песке, — мелкие кремнёвые отщепы. Он узнал их сразу: острые, с раковистым изломом, они не лежали бы здесь просто так. Кремень водой не приносит — его или находят в коренном залегании, или приносят. А эти — лежали кучкой, будто их отбирали и били здесь. Значит, здесь работали. Не просто разбили случайный камень, а сидели и делали орудия.

Он видел такие сколы в отвалах и в керне и однажды два дня сидел над похожей коллекцией с приглашённым археологом. Приметы запомнил: отщеп с площадкой, ударный бугорок, волнистая поверхность излома — всё то, что бывает только тогда, когда камень бьют камнем, целенаправленно и много раз. И несколько галек лежали отдельно, аккуратно, рядком.

Точную дату он бы не назвал — для этого нужны шурфы, стратиграфия и радиоуглерод, а не коса и голые руки. Но кое-что лежало прямо у ног и не требовало лаборатории. Первое — типология: камни не шлифованы, не просверлены, металла и керамики рядом нет, вся работа — скол. Такого набора хватает, чтобы сказать «каменный век» и не сказать больше ничего: он тянется от десятков тысяч лет до пяти, и внутри него помещается вся история, которую Степан знал по одному семестру археологии. Второе — сохранность: корочка на сколах светлая, лишайника нет, рыжей кромки, которая нарастает за столетия, тоже. Точнее не скажешь без лупы и шурфа — но на глаз это выглядело так, будто камни оббили не столетия назад.

Может, годы. Может, десятилетия. Он не взялся бы утверждать. Похоже, кто-то сидел здесь и бил гальку о гальку. Когда — он не знал.

Он сидел на песке и смотрел на кремнёвые отщепы.

Первая мысль была спокойной, почти рабочей: «Свежие. Кто-то бил здесь недавно». Он даже потянулся за одним — посмотреть скол, как делал сотни раз в поле. Но рука остановилась на полпути.

Недавно. Сколько — недавно? Год? Два? Десять?

Он знал ответ. Просто не хотел его произносить.

— Так, — сказал он вслух. — Так. Спокойно. Это ничего не значит. Мало ли, кто бил гальку. Может, геологи. Может, туристы. Может, местные. Может...

«Может» кончилось быстро. Он огляделся — на лес, на реку, на косу — и не нашёл ни одного следа, который мог бы быть «местным». Ни колеи, ни банки, ни зарубки. Только лес и вода.

И тогда — не сразу, а как-то исподволь — до него дошло. Не умом. Животом.

Он не на месторождении. Не в трёх километрах от буровой. Он вообще не там. И «там» — это не просто место на карте. Это время. Его время. Его жизнь.

Руки похолодели. Он попытался вдохнуть и не смог — воздух будто застрял в горле. Его замутило, по-настоящему, до холодного пота. Он опустил голову между колен и сидел так, пока не отпустило.

Мысли пошли по кругу. Почему он? За что? Что он сделал — такое, за что его выдернули из жизни и бросили сюда, голым, на камни, в чужое время? Он не находил ответа. Не находил ни Бога, ни судьбы, ни закономерности. Только холодную пустоту.

А потом — снова, как волна, — накатило отрицание. «Это сон. Это бред. Я лежу в отключке на курумнике, у меня сотрясение, и всё это мне снится». Он ущипнул себя за руку. Больно. «Значит, не сон. Значит, сумасшествие. Значит, что угодно, только не это».

Но это было это. Галька лежала на песке. Отщепы лежали на песке. Река шла, как шла бы в любом мире. И он сидел на ней — голый, живой, один.

Он не знал, сколько прошло времени. Может, полчаса. Может, час. Он сидел, смотрел на воду и ждал, когда отпустит. Отпустило не сразу. И не до конца. Просто тело устало бояться — и он смог поднять голову.

«Ладно, — подумал он. — Ладно. Если я здесь — значит, надо как-то здесь быть».

Он заставил себя думать не о том, где он, а о том, что делать. И первое, что он понял: идти дальше — глупо. Он не знал, куда идёт. Не знал, сколько идти. Не знал, есть ли там, за поворотом, кто-нибудь вообще. Может, идти ещё день. Может, неделю. Может, никогда. А силы кончались. Он шёл почти сутки, ел в последний раз вчера утром, и руки уже дрожали, а при повороте головы в глазах вспыхивало. Ещё день-два такого пути — и он свалится.

Значит, сначала — выжить. Здесь. На месте. Огонь, еда, вода, укрытие. А идти — потом, когда будут силы. Если будут.

Порядок был простой: огонь, еда, вода, укрытие.

Огонь — первым. Не потому что он голоден, а потому что без огня ночью холодно и страшно. С огнём — тепло, защита, и еду можно приготовить. Без огня — ни того, ни другого.

Но огонь без спичек — это проблема. Он знал теорию: лук, сверло, трут. Знал, что для лука нужен шнур — а шнура не было. Ни верёвки, ни ремня, ни даже полоски кожи. Значит, лук отпадает. Оставалось то, что попроще: палка о палку. Долго, нудно, без гарантии — но попробовать стоило.

Он набрал сухого мха под старой елью — того, что рос на камнях и рассыпался в пальцах, — и мелких веточек. Бересту отложил отдельно: она для огня, не для искры. Сложил мох в кучку, сел на корточки и попробовал. Тёр палку о палку, пока ладони не засаднило, — мох крошился, но не загорался. Пробовал палкой о камень — та же история.

Он выругался, вытер руки о колени и начал снова. Медленнее. Тщательнее. Растёр мох в ладонях, чтобы стал мягче, подложил под него бересту. Тёр, пока не заболели плечи. Ничего. Мох только крошился, превращаясь в пыль, и эта пыль не хотела загораться.

— Да чтоб тебя, — сказал он вслух и отшвырнул палку.

Она отлетела, стукнулась о камень и затихла. Степан сидел на корточках, смотрел на кучку трута и тяжело дышал. Сердце колотилось, руки дрожали — не от усталости, от злости. Он столько всего пережил за эти сутки, а тут — палка, мох. Детские игрушки. И не получается.

Он вытер лицо ладонью. Капля пота сорвалась с брови, упала прямо на кучку мха, и Степан смотрел, как она впитывается, как мох темнеет в этом месте. И вдруг замер.

Мокрый. Мох был мокрый. Он трёт, старается, а трут — сырой. От пота, от дыхания, от сырости, которая в лесу везде.

— Твою мать, — сказал он тихо. — Трут должен быть сухой. Совсем сухой. А этот...

Он отбросил бесполезный мох и стал искать другой. Сунулся под ель — там всё влажное, гнилушки раскисли, крошатся в мокрую кашу. Пошарил у камней — то же самое. Солнце уже высоко, жара, а в лесу — сырость под каждым стволом.

Он почти сдался. Сел на пятки, вытер руки о колени. И тут взгляд упал на старую сосну, на развилку ветвей. Там, в развилке, темнело что-то круглое, серое.

Гнездо. Старое, брошенное, свитое из сухой травы и пуха. Он потянулся, снял его, разворошил пальцами. Внутри — пух, мелкий, лёгкий, сухой, как пух одуванчика. Он не отсырел, потому что лежал высоко, в развилке, под ветками, которые укрывали его от дождя.

Степан растёр этот пух в ладонях, добавил к нему сухую траву из гнезда, снова сел на корточки. И начал тереть. Уже без злости, сосредоточенно, размеренно. Палка о палку. Долго. Руки устали, плечи горели, но он не останавливался.

И вот — маленький, слабый, серый дымок. Он замер, боясь дышать. Дымок стал гуще. Потом — искра. Одна, маленькая, красная. Он поднёс бересту, осторожно, как величайшую драгоценность. Искра перескочила, лизнула бересту, и та занялась — сначала робко, потом ярче.

Степан сидел на корточках, смотрел на это маленькое, живое пламя и чувствовал, как внутри что-то отпускает. Он сделал это. Сам. Без спичек, без зажигалки, голыми руками. В чужом мире, в чужом времени.

— Есть, — сказал он вслух. — Есть!

Он подложил веточек, потом посуше, потом ещё. Огонь окреп, поднялся, загудел. Тепло потекло по рукам, по лицу, по всему телу. И Степан впервые за это время почувствовал, что всё не так безнадёжно.

Он провозился с огнём часа два, может, три — солнце успело перейти зенит и заметно склониться. Теперь он сидел у пламени, смотрел на него и думал: ночевать сегодня будет тепло.

А пока он искал мох и трут, пока шарил под елями и у камней, он наткнулся на грибы. Не специально — просто увидел под осиной крепкие коричневые шляпки. Он выломил несколько штук — ножки поддавались легко, — положил на кусок берёсты. Потом ещё. Набрал с десяток.

Теперь, у огня, он перебрал их быстро и уверенно. Подберёзовики. Он знал их с детства — в деревне у бабушки собирал такие же. Губчатая изнанка, толстая ножка, коричневая шляпка. Другие грибы с такой изнанкой в лесу не растут.

Он нанизал несколько штук на ветку и подержал над огнём. Грибы зашипели, потемнели, пошли соком. Запахло так, что у него закружилась голова. Он подождал ещё немного, потом снял с ветки и съел — осторожно, по кусочку, прислушиваясь к себе.

Грибы были пресные. Совершенно, до обиды пресные — ни соли, ни масла, ни хлеба. Он жевал и думал: вот ведь, всю жизнь считал соль чем-то само собой разумеющимся, а сейчас отдал бы за щепотку половину... половину чего? У него ничего не было. Только грибы, огонь и река. Он усмехнулся: в поле, бывало, ругал кашу за недосол, а теперь готов был лизать камень,

если тот хоть раз лежал рядом с солонкой. Соль — это ведь не еда. Это то, без чего еда не еда. И её у него не было. И неизвестно, будет ли.

Ничего не случилось. Желудок принял еду, и Степан почувствовал, как по телу разливается тепло — не от огня, а изнутри. Первая горячая еда за всё это время.

Остальные грибы он уложил в тень под куст. Солнце успело перейти зенит и заметно склониться, но до вечера оставалось ещё часа три-четыре, и сидеть без дела было глупо.

Он оглянулся: коса была пуста, лес стоял стеной, и ни дыма, ни голосов, ни отпечатка ноги на песке. Люди были где-то рядом — и всё-таки не здесь. Степан подумал об этом ровно столько, сколько нужно, чтобы решить: сначала еда. С людьми надо разговаривать, а для разговора нужны силы, которых у него оставалось всё меньше.

Огонь уже есть. Вода — вот она, река рядом. Оставалась еда. И он знал, где её искать: в тайге голодным не останешься, если знать, где смотреть. Рыба — на мелководье, в заливчиках. Грибы — под осинами и берёзами.

Но прежде чем уходить, он занялся огнём. Оставлять пламя без присмотра нельзя — прогорит, и останется зола. А без огня ему не выжить: ни тепла, ни защиты, ни еды. Он разгрёб угли, сдвинул их в кучку, присыпал золой и землёй — так, чтобы не горели, но и не погасли. Сверху накрыл плоским камнем, оставив щель для воздуха. Угли будут тлеть под золой — вернётся, раздуть можно за минуту.

Он встал и пошёл вниз по реке — не наугад, а туда, где вода расширяется, где должны быть заливчики и отмели. Туда, где рыба.

Рыба была рядом — она стояла на мелководье в маленьком заливчике за косой, тёмные сигары над светлым песком, еле шевеля плавниками. Степан зашёл в воду тихо, насколько можно тихо зайти босиком, и попробовал накрыть ближайшую ладонями — прижать к песку. Рыба скользнула между пальцами и ушла. Он попробовал ещё раз — та же история. Руками рыбу не берут, это он знал и сам. Но попробовать стоило.

Со второго раза он решил по-инженерному. Выломал ветку орешника, ободрал и заострил конец трением о камень — вышел кривой гарпун длиной в собственный рост. А потом сделал то, что делал всегда: снял исходные данные. Прошёл вдоль залива, промеряя палкой глубину, нашёл узкость между двумя валунами, где вода ускоряется, и решил, что бить надо там — в узком месте рыба не отвернёт. Он стоял по колено в воде и бил в каждый тёмный силуэт. Много раз. Пока руки не устали. Рыба уходила от наконечника так, будто видела его заранее: узко было для человека, а для рыбы — нет. Он бил ещё и ещё, пока не понял: бесполезно.

Потом он попробовал сделать запруду — перегородил рукав залива камнями, оставил одно горло. Просидел полчаса, глядя, как вода обтекает камни и уносит песок. Запруда осела, горло размыло. Он выругался, но бросил это дело: на реке запруда не держится, а возиться с ней до темноты — глупо.

И тут он вспомнил про верши. Плетёные ловушки из прутьев — он видел такие в деревне у деда. Рыба заходит внутрь через узкое горло и не может выйти. Степан попробовал вспомнить, как дед это делал: брал ивовые прутья, гнул их кольцом, скреплял, оплетал... Он выломал несколько ивовых веток, согнул, скрепил — вышло криво, но форма была правильной: конус с узким входом.

Он поставил эту кривую вершу в заливчик, под куст ивы — туда, где тень и глубина, где рыба может прятаться. Прижал камнями, чтобы не унесло. И замер, соображая: нужна ли приманка?

Дед всегда что-то клал внутрь. Но что? Хлеб? У него не было хлеба. Тесто? Не было теста. Он порылся в памяти: кажется, дед клал жмыхи, распаренные зёрна... Ничего этого у Степана не было.

Но он знал главное: рыба ест червей и личинок. Он перевернул несколько камней у берега, нашёл под ними дождевых червей и личинок. Собрал с десяток, слепил в комок с глиной — чтобы не расплылись, — и засунул внутрь верши.

На этом он закончил. Поставил вершу, прижал камнями — и всё. Провозился с рыбалкой до вечера, а на выходе — мокрая грязь. Есть пока было нечего, кроме грибов.

Солнце уже садилось, когда он вернулся к углям. Раздул их, подложил сушняка, пожарил оставшиеся грибы и поел — медленно, без соли, но горячо. Ужин был скудный, зато честный: он сам его добыл.

И только потом, когда стемнело, он занялся ночлегом. Подгрёб к огню хвои и сухой травы, сделал подстилку, подложил сушняка в костёр и устроился с подветренной стороны. Ночь прошла у огня.

Утром он подбросил сушняка, раздул пламя и сел рядом. Теперь у него было тепло. Теперь можно было подумать о том, что делать дальше. Но сначала — верша.

Он спустился к заливчику, отвалил камни и вытащил ловушку. Она была тяжелее, чем вчера. Внутри, в узком горле, бились несколько рыбин — тёмных, длинных, с блестящей чешуёй. Степан даже присвистнул. Он не ждал, что сработает с первого раза, — а оно сработало.

Он вытряхнул рыбу на песок и пересчитал: три. Прижал ладонью хвост самой крупной — та дёрнулась, скользнула, и он накрыл её второй рукой. Смотрел на них и чувствовал, как внутри поднимается что-то, чему он давно не находил названия. Не радость. Уверенность. Уверенность в том, что он справляется.

Рыбу он зажарил тут же, на углях, предварительно обмазав глиной с речного берега. Пламени уже не было — только жаркие угли, и это было даже лучше: глина схватилась коркой, а мясо внутри дошло. Когда корка остыла, он разбил её камнем — глина отскочила вместе с чешуёй, — и мясо оказалось белым, горячим. Он ел его руками, обжигаясь и не обращая внимания.

Наелся. По-настоящему, до тяжести в желудке — впервые за всё это время.

И тогда, сытый, у углей, он наконец задумался о том, о чём раньше думать было некогда. Рыба — это хорошо. Рыба — это еда. Но рыбой сыт не будешь и голым не оденешься. Ему нужно мясо. Нужна шкура — хоть какая, хоть плохонькая, чтобы прикрыть тело и подстелить под бок. Нужны сухожилия — из них выйдут нитки, а без ниток не сшить ни обуви, ни мешка, ни тетивы. Нужны кости — из кости можно сделать наконечник, шило, иглу. Всё, что у него было, — это копьё, кривая верша да кусок берёсты на плечах. Дальше с этим не уйдёшь.

Значит, охота.

Охота — это просто сказать. Он перебрал в голове то, что знал, и то, что слышал краем уха, и быстро понял: вариантов у него немного.

Первый — засада с копьём. Сесть у тропы, дождаться зверя и ударить. Просто, не требует инструментов, кроме того копья, что уже есть. Но у засады с копьём было три слабых места. Первое: бить надо близко, вплотную, а значит — точно, один раз, без права на промах. Второе: зверь не стоит и не ждёт, пока ты подойдёшь. Олень или лось у водопоя насторожен, и одного шороха хватит, чтобы он ушёл. Третье: даже если он попадёт, копьё — не ружьё. Рана не убивает сразу. Зверь уйдёт, и он будет искать его по кровавому следу до темноты, а то и до утра, и найдёт не всегда.

Второй — яма с кольями. Выкопать на тропе ловчую яму, дно утыкать заострёнными кольями, замаскировать. Работает без него: зверь сам придёт и сам свалится. Но яма — это время. Копать землю без лопаты, палкой да руками, — день, а то и два. Тропа утоптана, дёрн плотный, под ним — корни. И главное: яма работает один раз. Промахнётся зверь, обойдёт — и всё, труд впустую.

Третий — силок. Петля из сухожилий или коры на тропе, чтобы зверь попал ногой и затянул. Но силок — это тонкая работа, а у него не было ни сухожилий, ни верёвки, ни времени учиться вязать узлы, которые держат лося. Силок — на зайца, на птицу. Не на того, кто даст мясо и шкуру.

Он подумал ещё немного и решил: засада. Не потому, что она лучше. Потому что она — единственная, где он не зависит от того, что сделает зверь. В яме зверь должен сам прийти и сам оступиться. В силке — сам попасться. А в засаде он хотя бы сам решает, когда бить. И если промахнётся — попробует снова. Яма так не умеет: она или сработала, или нет, и второй попытки не будет.

Копьё у него уже было. Тропа — вот она. Значит, засада. А яму он выкопает потом, если будет чем копать и если будет время.

Прикрыв огонь, он пошёл вдоль реки — не наугад, а высматривая следы. Не на воде, а на песке у кромки, на грязи у водопоя, на мягкой земле под деревьями. След — это не просто отпечаток. Это направление, время, размер зверя. А если найти тропу — можно поставить силок или ждать с копьём.

Тропа нашлась достаточно быстро.

Она была узкой, утоптанной до жёлтой земли и шла не туда, куда хотелось человеку, а туда, куда ходят ноги: по краю болота, между двумя корягами, вниз, к воде. На высоте груди над ней висела шерсть — клочок, другой, третий, — а в грязи у берега отпечатались следы: узкие, парные, с двумя копытами каждый.

Водопой был некрасивым и очень деловым местом. Берег разбит и размешан, изрыт ямами; по грязи тянулись цепочки следов, больших и маленьких; в воде плавали бурые клочья; пахло мокрой шерстью и тиной. Здесь не гуляли. Сюда приходили пить — и, судя по плотно утоптанному дёрну, приходили регулярно.

Степан присел на корточки и покрепче сжал в кулаке копьё.

Он не стал спрашивать себя, сможет ли убить. Знал, что сможет: в четырнадцать дядя заставил его добить и освежевать зайца из силка — мутило, а руки справились. Тело было рабочее, привыкшее к тяжести и к долгому шагу, и это оказалось единственным имуществом, которое при нём осталось.

Охотиться он не умел. Зато умел искать — не зверя, а обнажение. Когда не знаешь, где выходит порода, по площади не бегают: идут туда, где её открывает сама земля. Со зверем то же: он выходит на воду, как порода в борт, — не надо прочёсывать лес, надо сесть там, где показывается само. Вода здесь одна. Значит, ждать у тропы.

Оставался ветер. Утром он тянул вверх по долине — солнце грело склон, воздух поднимался. К полудню развернулся. Пошёл вниз — холодный, ровный, тот самый, что за день стекает с остывшего хребта в долину. Для засады это было хорошо.

Значит, сидеть надо не на тропе и не у воды, а сбоку, там, где ветер проходит мимо. Он выбрал бугорок в трёх шагах от тропы, за кустом ивы — в тени, но с просветом на воду.

Он устроился так, чтобы не сидеть на открытом месте: подтянул колени, прижался спиной к стволу ивы, копьё положил поперёк колен — древко на левой ладони, остриё вперёд. Так, чтобы не поднимать руку в последний момент, а просто подать от себя. Движение короткое, экономное, без замаха. Замах — это полсекунды, за которые зверь успевает уйти.

Ждать оказалось тяжелее, чем он думал.

Первые полчаса он ещё держался настороже: слушал, смотрел на просвет между кустами, ловил каждое движение. Потом тело, измотанное за сутки, начало сдаваться. Глаза слипались. Он тряхнул головой, ущипнул себя за мочку уха — больно, но ненадолго. Пришлось сменить позу: вытянуть затёкшую ногу, потом другую, потом снова поджать колени. Стоять он не мог — стоять значит шуметь и ломать укрытие. Сидел.

«Так не пойдёт, — подумал он. — Если я буду ёрзать, никакой зверь сюда не придёт».

Он заставил себя дышать ровно. Медленно, считая до четырёх на вдохе и до шести на выдохе. Это он знал: так сбивают панику и так же, случайно, сбивают сонливость — тело, занятое счётом, забывает ныть. Помогло. Через минуту он уже смотрел на воду спокойно, без тумана в глазах.

Солнце уже клонилось к хребту. Свет стал мягче, тени длиннее. Птицы не замолкали разом — они затихали по одной, будто кто-то выключал их по очереди. Стало слышно, как шумит перекат: ровно, низко, на одной ноте. И под этот шум, из глубины леса, пришёл первый звук.

Хруст. Один. Короткий, будто кто-то наступил на сухую ветку и замер.

Степан перестал дышать.

Он не повернул головы — только глазами, в сторону звука. Кусты там стояли плотно, и в них ничего не двигалось. Но он понимал: зверь тоже замер. Слушает. Принюхивается.

Прошло, наверное, полминуты. Может, минута. Степан не считал. Он ждал. Волнение было острым, под ним — азарт, и больше ничего.

Кусты раздвинулись, и на тропу вышел олень.

Небольшой, молодой, с тонкими ногами. Рожки у него были короткие, прямые, ещё не разветвившиеся — два прутика, покрытых короткой шерстью, серой, с рыжиной по краю. Он шёл медленно, ставя ноги аккуратно, будто пробуя землю на вкус. Остановился. Поднял голову. Уши повернулись в стороны, как две маленькие антенны.

Степан смотрел на него, и в голове билась одна мысль: «Ближе. Подойди ближе».

Олень не подходил. Он стоял на границе видимости, в десяти шагах, и прислушивался. Потом опустил голову и сделал шаг к воде. Потом ещё один.

Семь шагов. Шесть. Олень поравнялся с кустом.

Степан понял: он не сможет ударить с места. Слишком далеко, слишком много веток между ними. Надо подняться — но не целиком, а чуть-чуть, на полусогнутых, перенося вес на носки. Он приподнялся — и ударил.

Подался вперёд, всем телом, вкладывая вес в движение, — и копьё вошло под лопатку.

Олень рванулся, и древко вывернулось у Степана из рук, ободрав ладони. Зверь сделал два прыжка, третий — и рухнул на бок, забился, суча ногами.

Степан опустился обратно на пятки. Выдохнул. Руки гудели от напряжения, ладони горели.

Олень затих.

Он подождал ещё немного, потом подошёл и сел рядом на корточки. Посмотрел на тушу, на копьё, торчащее из бока, на свои руки. Пальцы дрожали мелко, почти незаметно. Он сжал их в кулаки, разжал. Дрожь прошла.

Потом посмотрел на копьё. Древко треснуло у острия, но не сломалось — дерево, не выдержав веса, надломилось. Копьё было испорчено.

«Ну хоть не зря», — подумал он.

Он подхватил зверя под передние ноги, взвалил на плечи, ухватил за копыта. Туша легла на лопатки, тяжёлая, и он пошёл — медленно, время от времени перехватывая её поудобнее. От тропы до костра было метров четыреста, и дважды он опускал тушу на землю и садился рядом: первый раз — прислонив её к стволу, второй — просто на песок, пока не перестало стучать в висках.

К костру он пришёл уставший так, что руки дрожали. Свалил оленя у кострища, опустился на колени — и первое, что увидел: угли под золой почти погасли. Серые, с редкими красными точками, они уже не грели. Ещё немного — и осталась бы зола.

Он разгрёб угли, сдвинул их в кучку, подложил сухой травы и бересты, которую держал отдельно, и стал дуть. Долго, размеренно, пока не показался дымок, потом огонь. Пламя поднялось, лизнуло ветки, и Степан сел рядом, чувствуя, как тепло расходится по лицу и рукам.

Только теперь он перевёл дух.

Он огляделся. Ножа нет. Но отщепы — вот они, на косе, в тридцати шагах от костра: он сам нашёл их здесь утром и разводил огонь рядом с ними.

Степан поднялся, прошёл до косы — она была рядом, шагах в тридцати, — и вернулся с горстью отщепов. Штук пять, самый крупный сверху. Сел у туши, разложил камни рядом на песке.

Он начал от горла. Надрезал шкуру под челюстью, провёл вниз по груди, по белому животу, до паха. Шкура расходилась тяжело, с натяжением, и он помогал себе рукой, оттягивая край. Потом развёл края разреза и взялся за грудину.

Здесь пришлось потрудиться. Он подрезал плёнки, раздвинул мышцы, нащупал под рёбрами край — и потянул. Грудная клетка поддалась не сразу. Он резал и рвал, пока не добрался до тёплой, тяжёлой массы внутри.

Печень он достал первым. Тёмно-красная, гладкая, она была тяжёлой, как мокрый камень, и тёплой в ладонях. Он положил её на лист лопуха. Следом — сердце, небольшое, плотное.

Огонь уже горел ровно. Степан насадил печень на ветку и подержал над пламенем. Она зашипела, потемнела, пошла соком. Запах ударил в нос так, что он застонал вслух. Он ел, обжигаясь, откусывая большими кусками, и сок тёк по подбородку.

Наелся так, что пришлось сесть и посидеть, держась за живот.

Потом вернулся к туше. Снял шкуру — целиком, не торопясь, потому что шкура была нужна целой. Она сходила тяжело, с треском, и он помогал себе рукой, оттягивая край. Потом выпотрошил: разрезал живот от грудины до паха, вывалил внутренности на песок. Остальное оттащил в сторону.

Нарезал мясо тонкими полосами и развесил на ветках над огнём — пусть коптится. Полос получилось много, несколько десятков. Он смотрел на них и понимал: всё не унести. Но это было неважно.

Шкуру растянул на кусте, мездрой наружу, и придавил камнями по краям.

К вечеру она подсохла — не высохла до конца, но уже не липла к рукам. Степан снял её с куста, подержал. Тяжёлая. Жёсткая. Пахнет зверем.

Он посмотрел на неё и подумал: так не пойдёт. Накинуть на плечи — сползёт. Обернуть вокруг бёдер — упадёт. Нужно закрепить.

Он взял кремень. Нашёл острый отщеп. Начал резать.

Работал медленно — кремень не нож, шкура тянется, мездра скользит. Но руки помнили: он резал не раз. Сначала — вдоль хребта. Потом — поперёк. Получилось две части: большая — на торс, меньшая — на бёдра.

Из края меньшей вырезал тонкую полосу — пояс. Растянул её в руках, чтобы стала мягче. Обернул вокруг талии — поверх шкуры. Затянул.

Получился килт. Кривой, тяжёлый, пахнет зверем. Но держался. Шерстью к телу, мездрой наружу.

Большую часть сложил пополам. Кремнём прорезал дыру для головы — неровную, с зазубринами. Надел через голову.

Получилось пончо. Свисало до бёдер. Спереди и сзади. Руки свободны. Шерстью к телу, мездрой наружу.

Тяжело. Жёстко. Шерсть у кожи. Пояс на талии. Пончо на плечах.

Впервые за два дня — не голый.

К тому времени, как он закончил, солнце уже село. Небо на западе догорало узкой розовой полосой, а выше было чистым и бледным, и с каждой минутой розовое таяло.

Глубокий вечер. Он сел у костра и посмотрел на свои руки.

Ладони были разодраны о древко, на пальцах — порезы от кремня, и всё это горело, будто в него насыпали песка.

Он сидел и смотрел на огонь. Два дня. Он прожил здесь два дня, и за это время у него появилось: огонь, копьё, мясо, килт и пончо из шкуры, пояс на талии. Это было немного. Но это было.

Он подгрёб к огню хвои, устроился с подветренной стороны — в шкуре, не голый, тепло. И заснул.

Степана разбудил крик.

Глава 3

Крик выдернул его из сна.

Не сразу. Сначала что-то разбудило — резко, будто толкнули в грудь. Степан открыл глаза.

Уже светало. Не рассвет — утренние сумерки. Серые, плоские, без теней. Небо над хребтом было бледным, ровным.

Он сел.

Спросонок не разобрал. В голове шумело — не пусто, а гулко. И под этим — смутное, липкое: как будто он сам кричал. Только что. Во сне. Долго. С надрывом.

Степан потрогал горло. Не болит. Значит, не кричал. Или кричал не вслух.

Крик повторился — слабее, будто тот, кто кричал, выдохся.

Всё. Больше — ничего.

Он сидел и слушал. Лес жил своей жизнью — где-то далеко ухнула птица, прокричал кто-то невидимый в кронах, ветер прошёлся по вершинам. Привык к этим звукам. Они не мешали. Выделял главное.

Главное было — тишина после крика. Тот, кто кричал, замолчал. Сам. Или ему замолчали.

Кто. Где. Идти или не идти. Ловушка? Человек? Зверь?

Ответа не было.

Степан посидел ещё минуту. Потом встал.

Прикинул расстояние. Крик был отчётливым — не глухим, не размытым. В предрассветной тишине звук идёт далеко — но отчётливо. А отчётливо — значит, близко. Может, километр. Может, меньше.

Осмотрелся.

Серый свет стоял вокруг — ровный, плоский, без теней. Угли под золой еле заметно тлели — почти погасли. Красные точки в сером. Совсем чуть-чуть. Дальше — стволы, уходящие вверх, и между ними — та же серая мгла, без глубины.

Он поднял голову — небо было бледным, ровным. До восхода — час. Может, меньше.

Прислушался.

Ничего. Только его дыхание — и перекат далеко.

Если Степан сейчас не встанет — будет сидеть у костра до рассвета, слушая тишину. А утром — пойдёт искать. И найдёт. Или не найдёт. Или найдёт — но поздно.

Он уже был в такой ситуации. Один раз. На обочине. Стоял и смотрел. И ничего не сделал.

Он не хотел повторять.

Степан подошёл к костру. Разгрёб золу. Под ней — красные угли. Живые. Подбросил сушняка, раздул. Огонь вспыхнул. Потом положил большую корягу — так, чтобы тлела долго. Прикрыл дёрном. Огонь не погаснет. Угли будут ждать.

Подошёл к тому месту, где разделывал оленя. На песке лежали отщепы — те самые, которыми резал шкуру. Подобрал два покрепче, с острым краем. Заткнул за пояс — снаружи, чтобы под рукой.

Потом поискал глазами подходящий сук. У самой воды стоял молодой ольшаник — гибкий, сырой. Не то. Чуть дальше — старая ольха, с толстым суком, торчащим в сторону. Живой. Но толстый. Крепкий.

Подошёл, ухватился обеими руками, рванул вниз — сук хрустнул, но не поддался. Рванул ещё раз. Поддался. Длинный, с утолщением на конце. Тяжёлый.

Взял копьё. Подержал в руке, проверяя баланс. Древко было кривое, треснувшее у острия. Но другого не было.

Посмотрел на всё это хозяйство — копьё, дубину, кремень за поясом. Усмехнулся. Горько.

— Пещерный человек, — сказал он вслух. — Ёлки-палки. Дубина и камень. Идёт на крик в темноту. Как в дурацком фильме. Только кино закончится через два часа. А это — не кино.

Он поправил шкуру на плечах. Затянул пояс. Шагнул в темноту.

Степан шёл медленно. Не бежал — бежать в серой мгле означало свернуть шею на первой коряге. Копьё держал в правой руке. Дубинка — за поясом, сбоку. Левой рукой отводил ветки — ладонью, предплечьем, — чтобы не хлестали по лицу.

Степан считал шаги — привычка с полей. Сотня шагов — примерно семьдесят метров. Крик был с километр отсюда, может, чуть меньше. Он прикинул: если идти напрямик — минут двадцать. Но лес не даст напрямик. Значит, тридцать. Может, сорок. Может, час.

Он обходил бурелом, спускался в овраги, снова возвращался на курс. Считал шаги. Сбился на третьей сотне — не из-за крика. Крика больше не было. Просто сбился. И остановился.

Он примерно представлял, откуда шёл крик. Правее поляны. Может, чуть дальше. Он держал это направление — как мог. Сверялся с деревьями, с уклоном склона, с шумом переката.

Так он шёл — медленно, упрямо, корректируя путь.

Он шёл долго. Дольше, чем думал. Шаги не давались — корни, ямы, ветки. Он спотыкался, ругался сквозь зубы, останавливался, слушал. Ничего.

— Ну и ладно, — сказал он вслух. — Геолог, двигайся. Не стоять же здесь до обеда.

И пошёл дальше.

А потом — не сразу, постепенно — начало светлеть. Не так, как в кино — с первыми лучами. А по-другому. Серое стало бледнее. Плоское — объёмнее. Силуэты стволов проступили резче, будто кто-то подкрутил контраст.

Рассвет занимался.

Степан остановился. Огляделся.

Лес вокруг был уже не серым — бледным, с едва заметными тенями. И в этом бледном — между стволами, шагах в сорока — он увидел фигурку.

Маленькая. Тёмная на фоне серого. Сидит у воды, привалившись спиной к валуну. Колени обхвачены руками. Голова опущена.

Он не сразу понял — ребёнок? Подросток? Взрослый? Фигурка была маленькой. Но в сером свете не разберёшь.

Пошёл к ней. Осторожно — но не бесшумно. Ветки хрустели под ногами, трава шуршала. Он шёл и ждал, что фигурка вскинется, побежит.

Она подняла голову.

И Степан разглядел.

Девочка. Лет двенадцать, может, меньше. Худая. В грубой одежде из шкур, слишком большой для неё. Лицо чумазое — грязь пятнами, там, где тёрла рукой, там, где слёзы оставили полосы. Следы слёз на щеках уже подсохли.

Глаза — тёмные, широко раскрытые. Она смотрела не мигая. Не плакала. Не кричала. Просто смотрела — так, будто уже решила, что будет делать, если он сделает шаг.

Боялась — да. Но не паниковала. Сжалась в комок — и ждала.

Степан остановился. Дальше не пошёл.

Опустил копьё. Остриём в землю. Поднял свободную руку, ладонью вперёд.

Она смотрела на руку. На копьё. На него. На шкуру на его плечах — тяжёлую, влажную, пахнущую зверем.

Он заговорил — тихо, ровно. Не для неё. Для себя тоже. Чтобы голос звучал. Чтобы она слышала: не кричит, не ругается. Просто говорит.

— Тихо, — сказал он. — Тихо. Не бойся. Я не трону.

Она не поняла слов. Но интонацию — поняла. Он видел по глазам.

Он медленно, очень медленно, опустился на корточки — там, где стоял. Не приближаясь.

Положил копьё на землю. Отодвинул его в сторону — так, чтобы было видно: он не держит оружие.

Она не двинулась. Смотрела.

Он поднял обе руки — ладонями вперёд. Пустые. Смотри. Ничего нет. Ни камня, ни палки, ни ножа.

Она посмотрела на руки. Потом на него. Потом — на свою ногу.

И Степан проследил за взглядом.

Левая нога. Ниже колена. Опухшая. Синеватая. Стопа вывернута чуть в сторону — не сильно, но неправильно. Вывих. Или сильный ушиб. Она не могла наступать на неё. Вообще.

Он понял.

«Она не убежала не потому что доверилась. А потому что не могла. Сидела здесь и ждала — кого угодно. Тебя. Зверя. Смерти. Всё равно».

И от этого понимания — холодно и тошно.

Степан понял: она не убежит. Не потому, что доверилась, — потому что не могла. Но и пугать её было нельзя. Одно резкое движение — и она сожмётся ещё теснее, уйдёт в себя, спрячется. А он не хотел, чтобы она пряталась. Он хотел, чтобы она перестала бояться.

Он поднялся с корточек — медленно, без рывка. Она следила за ним взглядом. Не мигала.

— Ладно, — сказал он тихо. — Ладно, маленькая. Всё хорошо.

Шагнул. Один шаг. Маленький, будто случайный. Нога в мягкую землю — без хруста, без шума. Она дёрнулась — чуть-чуть, плечом, — но не отползла.

— Хорошая, — проговорил он. — Хорошая. Не бойся. Я просто посмотрю ногу. Больно не сделаю.

Слова были пустые — она не понимала. Но голос работал. Ровный, низкий, без угрозы. Он слышал это в собственных ушах: говорит, как с ребёнком. Только ребёнка у него не было.

Второй шаг. Она подобрала под себя здоровую ногу — готовилась оттолкнуться? Или просто сжалась теснее?

— Тихо, тихо, — повторил он. — Не надо. Не надо никуда.

Он остановился в двух шагах. Ближе нельзя — пока нельзя. Присел снова, уже ниже, почти на пятки, чтобы стать меньше. Меньше — значит, не страшнее. Ему так казалось.

Протянул руки. Обе. Ладонями вверх — пустые, открытые. Не тянулся к ней. Просто держал их на весу, показывая: вот они, смотри, ничего не прячу.

— Видишь? Ничего. Ни камня, ни палки. Просто руки.

Она смотрела на ладони. Долго. Потом — на его лицо. Потом снова на ладони. Губы у неё дрогнули — не то чтобы заплакала, нет. Просто что-то в ней шевельнулось, отпустило на волосок.

Степан не двинулся. Держал руки. Ждал.

— Ну что, — проговорил он почти шёпотом. — Пойдём посмотрим, что там с твоей ногой? Я осторожно. Обещаю.

И замолчал. Дальше — не его дело. Дальше — её.

Она ещё смотрела. Ещё решала. Но плечи у неё уже были не так высоко, и руки не так крепко обхватывали колени. Что-то в ней сломалось — или, наоборот, отпустило.

Степан ждал, не шевелясь. В сером свете между стволами было тихо. Только перекат шумел внизу — ровно, не умолкая.

Руки девочки дрогнули. Не по её воле — сами. Потянулись вперёд, к его ладоням. Детский рефлекс: увидел открытые руки — потянулся. Она будто сама не поняла, что сделала, и тут же испугалась — в глазах мелькнуло: сейчас уберёт, сейчас спрячет.

Но Степан не дал ей убрать. Не схватил — просто подался чуть вперёд, и её тонкие пальцы легли в его ладони. Холодные. Сухие.

Он очень медленно, без рывка, подтянул её к себе. Одной рукой — под спину, другой — под колени, обходя больную ногу. Она была лёгкая. Слишком лёгкая. Будто одни кости да шкура, и почти ничего внутри.

Девочка замерла. Не вырывалась. Только дышала часто-часто, и это дыхание он чувствовал через шкуру на плечах — тёплое, сбитое.

Он поднялся с ней на руках — осторожно, чтобы не тряхнуть. И только теперь, когда она была близко, в бледном свете, — увидел.

Руки. Обе. От кистей до локтей — ссадины. Мелкие, свежие, будто она падала и ползла по камням. Кое-где — бурые корки, кое-где — красное, ещё не подсохшее. И синяки — на запястьях, на предплечьях. Не от падения. От пальцев. Кто-то держал её за руки. Крепко.

Ноги — то, что было видно из-под слишком большой одежды, — тоже в ссадинах. Колени разбиты, голени исцарапаны.

Степан стоял, держал её, и молчал. Внутри что-то стянуло — холодно, туго. Он знал, что это за синяки. Не от падения. Такие остаются, когда хватают. Грубо, с силой, пальцами в кожу — чтобы удержать, чтобы не убежала. Он видел такие раньше. Давно. На соседке по площадке — тёте Вале с третьего этажа. Она зимой ходила в кофте с длинными рукавами, даже когда в подъезде топили так, что нечем дышать. А один раз, в лифте, рукав задрался — и он увидел. Ей было неловко, она отдёрнула руку и улыбнулась. Он тогда ничего не сказал. Был мелкий. Не понял. А потом понял — но было поздно, они уже уехали. Он не хотел, чтобы и здесь было поздно.

— Ладно, — сказал он наконец. Тихо. — Ладно.

Больше ничего не сказал. Прижал её к себе чуть крепче — так, чтобы ей было тепло, чтобы чувствовала: держат, не бросят. И пошёл обратно — туда, где под дёрном ждали угли.

Шёл медленно. Считал шаги. Не для себя — для неё: чтобы не трясло, чтобы ровно. Ветки отводил плечом, а не рукой, — руки были заняты. Девочка не сопротивлялась. Голова у неё лежала у него на плече, и он слышал, как постепенно, шаг за шагом, дыхание её выравнивается. Не успокаивается — просто устаёт бояться.

Лес светлел. Серое становилось белым. Тени проступали между стволами — длинные, утренние.

— Дойдём, — проговорил он, не столько ей, сколько себе. — Сейчас дойдём. Там костёр. Там тепло.

Она не ответила. Но пальцы её — те самые, тонкие, холодные — чуть сжались на его шкуре. Держались.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.